

За несколько дней до нашего отъезда из Софии я был, в числе некоторых прочих, приглашен в гости, на вечернюю пирушку к одному видному болгарскому поэту, содержавшему трактир, и там просидел почти до рассвета — ни хозяин, ни военный болгарский министр, бывший в числе приглашенных, ни за что не отпускали меня домой, министр даже кричал на меня в избытке дружеских чувств: — Арестую, если вздумаете уходить!

Так и вернулся я домой — только на рассвете и не совсем трезвый, а вернувшись, тотчас заснул мертвым сном и только часов в одиннадцать дня вскочил с постели, с ужасом вспоминая, что приглашен на какую-то политическую лекцию Рысса, человека очень обидчивого, и что лекция эта должна была начаться в девять утра, — в Софии публичные лекции, доклады часто бывали по утрам. Желая поделиться с женой своим горем, я перебежал из своего номера в ее, как раз напротив моего, минут через десять вернулся в свой — и едва устоял на ногах: чемодан, в котором хранилось все наше достояние, был раскрыт и ограблен дотла — на полу было разбросано только то, что не имело никакой ценности, — так что мы оказались уже вполне нищими, в положении совершенно отчаянном. Замки чемодана были редкие, подобрать к ним ключи было невозможно, но я, проснувшись, сам отпер чемодан, чтобы взять из него золотой хронометр, посмотреть, который час, — я благополучно не взял его вчера с собой, зная, что мне придется возвращаться с вечера у поэта поздно, по темной и пустынной Софии, — и, посмотрев, бросил чемодан незапертым, а хронометр положил на ночной столик у постели, с которого, разумеется, исчез и он. Однако судьба оказалась ко мне удивительно великодушна: взяла с меня большую взятку, но зато спасла меня от верной смерти, — почти тотчас же после того, как я обнаружил свою полную нищету, кто-то, уж не помню, кто именно, принес нам страшную весть о том, что случилось там, где должен был читать Рысс: меньше, чем за минуту перед его появлением на эстраде, под ней взорвалась какая-то «гадская машина», и несколько человек, сидевших в первом ряду перед эстрадой, — в котором, вероятно, сидел бы и я, — было убито наповал.

Кто обокрал нас, было вполне ясно не только нам, но и всякому из наших сожителей по отелю: коридорным в отеле был русский, «большевичок», как все его звали, желтоволосый малый в грязной косоворотке и поганом сюртучишке, горничной — его возлюбленной, молчаливая девка, похожая на самую дешевую проститутку в одесском порту, «личность мистериозная», как назвал ее болгарский сыщик, посланный арестовать и ее, и коридорного болгарской полицией, но французы тотчас вмешались в дело и приказали его прекратить: нижний этаж отеля занимали зуавы, среди которых мог оказаться вор. И вот болгарское правительство предложило мне бесплатный проезд до Белграда в отдельном вагоне третьего класса, наиболее безопасном от тифозных вшей, и небольшую сумму болгарских денег на пропитание до Белграда. А в Белграде, где нам пришлось жить в этом вагоне возле вокзала на запасных путях, — так был переполнен в ту пору Белград, — я не только никак не устроился, но истратил на пропитание даже и то, что подарило мне болгарское правительство. Сербы помогали нам, русским беженцам, только тем, что меняли те «колокольчики» (деникинские тысячерублевки), какие еще были у некоторых из нас, на девятьсот динар каждый, меняя однако только один «колокольчик». Делом этим ведал князь Григорий Трубецкой, заседавший в нашем посольстве. И

* М. С. Цетлин — эмигрировала из России в 1919 г. Известная меценатка. После второй мировой войны организовала политическую травлю И. А. Бунина. Об этом можно прочитать в моем романе-хронике «Холодная осень». Иван Бунин в эмиграции». (М., 1989). — Прим. публикатора.

вот я пошел к нему и попросил его сделать для меня некоторое исключение, — разменять не один «колокольчик», а два или три, — сославшись на то, что был обокраден в Софии. Он посмотрел на меня и сказал: — Мне о вас уже докладывали, когда вы пришли. Вы академик?

— Так точно, — ответил я.
— А из какой именно вы академии? Это было уже издевательство. Я ответил, сдерживая себя сколько мог: — Я не верю, князь, что вы никогда ничего не слышали обо мне.

Он покраснел и резко отчеканил: — Все же никакого исключения я для вас не сделаю. Имею честь кланяться.

Я взял девятьсот динар, забывши от волнения, что мог получить еще девятьсот на жену, и вышел из посоль-

Приехала Машка, — помнишь девку из двора Федьки Рыжего? У нас объявлен к выходу самоедский словарь, скоро будут выходить «Татарские классики», но железнодорожное сообщение адское. Машка на пересадке в Туле неподвижно просидела в ожидании московского поезда на вокзале целых трое суток. Приехала Зинка, дочь Васильевского кузнеца. Ехала тоже бесконечно долго, в страшной тесной толпе мужиков. Сидя и не вставая, стерегла свою корзину, перевязанную веревками, на которой сидел ее мальчик, идиот с головой вроде тыквы. В Москве повела его в Художественный театр — смотреть «Синюю птицу»...

— Один наш знакомый, очень известный ученый, потерял недавно рубль и, говорит, не спал всю ночь

цать восемь листов. Написано стихийно, темпераментно!».

— Писатель Романов — мещанин из Белевского уезда. Желтоволосый, с острой бородкой. Пальто «клош», черные лайковые перчатки, застегнутые на все пуговицы, лакированная трость, «артистически» изломанная шляпа. Самомнение адское, замыслы грандиозные: «Пишу трилогию «Русь», листов сто будет!». К Европе относится брезгливо: «Не поеду, скучно там...». Писатель Леонов, гостивший у Горького за границей, тоже скучал, все говорил: «Гармонь бы мне...».

— Помнишь Варю Б.? Она живет теперь в Васильевском, «квартирует» в избе Красовых, метет и убирает церковь, тем и зарабатывает кусок хлеба. Одевается, как баба, носит лапти. Мужики говорят: «Прибилась к церкви.

ребриной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал — цвета и запаха определить не могу».

Этот шквал и был февральской революцией, и тут для него определились наконец цвет и запах «шквала». Тут он написал однажды стишки о фраке:

Древний образ в черной раке,
Перед ней подлец во фраке.

В лентах, в звездах, в орденах...
Когда «шквал» пришел, фрак достался Ваське Жохову, изображенному моим братом не только во фраке, но и в военных ремнях с кольцами: лент, звезд, орденов Васька тогда еще не имел. Перечитывая письмо племянника, хорошо представляя себе эту сгнившую, с провалившейся крышей избу, в которой жил Евгений Алексеевич, в щели которой несло в метель снегом, вспомнил я и перламутр и аметист столь великолепной в своей поэтичности блоковской «метели».

Приходили ко мне сведения и о Васильевском:

— Я недавно был в Васильевском. Был в доме, где ты когда-то жил и писал: дом, конечно, населен, как и всюду, мужицкими семьями, жизнь в нем теперь вполне дикарская, первобытная, грязь не хуже, чем на скотном дворе.

А затем пришло уже такое сообщение:

— Васильевское и все соседние усадьбы исчезли с лица земли. В Васильевском нет уже ни дома, ни сада, ни одной липы главной аллеи, ни столетних берез на валах, ни твоего любимого старого клена...

«Вронский действует быстро, натиском, заманивает девиц, втирается в знакомство к Каренину, нагло преследует его жену и, наконец, достигает своей цели. Анна, которую автор с таким блеском выводит на сцену, — как она умеет одеваться, как страстно увлекается «изяществом» Вронского, как нагло и мило обманывает мужа. — Анна падает, как всясьма ординарная, пошлая женщина, без надобности, утешая себя тем, что теперь оба довольны — и муж, и любовник, оба обоим она служит своим телом, «изящным, культурным» телом... Граф Толстой обольстительно рисует пошловатый мир Вронского и Анны... А ведь граф Толстой даровитый писатель...».

Что это такое? Это пример того, до чего договариваются некоторые в предреволюционные и революционные времена. В шестидесятых годах, да и в семидесятых не один болван, ненавидевший «фрак», тоже договаривался до чудовищных нелепостей. Но был ли болваном тот, чьи строки я только что привел? Строки, которые мог написать самый отчаянный болван, негодяй и лжец, которого мало было повесить на первой осине даже за одни только каверзные кавычки в этих строках? Это писал совсем не болван, это писал Алексей Сергеевич Суворин, ставший впоследствии...

Моем современнике - 1990 - 28 лет

ВОСПОМИНАНИЯ

ства совершенно вне себя. Как быть, что делать? Возвращаться в Софию, в этот мерзкий и страшный отель? Я тупо стоял на тротуаре и уже хотел брести в свой вагон на запасных путях, как вдруг открылось окно в нижнем этаже посольского дома и наш консул окликнул меня:

— Господин Бунин, ко мне только что пришла телеграмма из Парижа от господи Цетлиной*, касающаяся вас: виза в Париж и тысяча французских франков.

В Париже, в первые годы двадцатых годов, мы получали иногда письма из Москвы всякими правдами, неправдами, чаще всего письма моего племянника (умершего лет пятнадцать тому назад), сына той двоюродной сестры моей, о которой я уже упоминал и в имени которой, в селе Васильевском, я подолгу жила многие годы — вплоть до нашего бегства оттуда в Елец и дальше в Москву, на рассвете 23 октября 1917 года, вполне разумно опасаясь быть ни за что ни про что убитыми тамошними мужиками, которые неминуемо должны были быть пьяными поголовно 22 октября, по случаю Казанской, их престольного праздника. Вот в хронологическом порядке некоторые выдержки из этих писем, в своем роде довольно замечательных:

— Лысею. Ведь от холода почти четыре года не снимаю шапки, даже сплю в ней.

— Та знаменитая артистка, о которой я тебе писал, умерла. Умирая, лежала в почерневшей от грязи рубашке, страшная, как скелет, стриженная клоками, шивая, окруженная докторами с горящими лучинами в руках.

— Был у старухи княжны Белозерской. Сидит в лохмотьях, голодная, в ужасном холоде, курит махорку.

— Я задышался от бронхита, с великим трудом добыл у знакомого аптекаря какой-то мази для втирания в грудь. Раз вышел в нужник, а сосед-старичок, следивший за мной, вбежал ко мне и стал пожирать эту мазь: вхожу, а он, весь трясясь, выгребает ее пальцами из баночки и жрет.

— На днях один из жильцов нашего дома пошел к своему соседу узнать, который час. Постучавшись, отворил к нему дверь и встретился с ним лицом к лицу, — тот стоял в дверях. «Скажите, пожалуйста, который час?». Молчит, только как-то странно ухмыляется. Спросил опять — опять молчит. Хлопнул дверью и ушел. Что же оказалось? Сосед стоял, чуть касаясь ногами пола, в петле: вбил железный костыль в притолоку, захлестнул бечевку... Прибежали прочие жильцы, сняли его, положили на пол. В окаменевшей руке была зажата записка: «Царствию Ленина не будет конца».

— Из нашей деревни некоторые переселяются в Москву. Приехала Наталья Пальчикова со всеми своими ведрами, ушатами. Приехала «совсем»: в деревне, говорит, жить никак нельзя, и больше всего от молодых ребят: «настоящие разбойники, живорезы».

Валентин ЛАВРОВ представляет прежде у нас не публиковавшиеся главы из последней прижизненной книги И. А. Бунина «Воспоминания», впервые вышедшие в парижском издательстве «Возрождение» ровно сорок лет назад — в 1950 году.

Эта книга — плод многолетних размышлений великого русского писателя о судьбе России, о ее литературе и искусстве. Бунин всегда отличался смелостью и независимостью суждений. И на этот раз он порой опрокидывает устоявшиеся авторитеты. Горячо, словно в своем прощальном завете, Иван Алексеевич призывает любить Россию, оберегать ее от всякого политического, литературного или другого экстремизма.

Главы печатаются с незначительными сокращениями. В полном виде они выйдут в свет в журнале «Наш современник» (№ 11), с любезного согласия редакции которого мы их и печатаем.

от горя. Жена его осталась в деревне. Ей дали угол в прихожей за шкапами в их бывшем доме, давно захваченном и населенном мужиками и бабами. На полу грязь, стены ободраны, измазаны клопиной кровью... Каково доживать жизнь, сидя за шкапами!

— Во дворе у нас, в полуподвальной дворничкой, живет какой-то краснотлицый старик с серой кудрявой головой, пьяница. Откуда-то оказался у него совсем новый раззолоченный придворный мундир, большой, длинный. Он долго таскал его по двору, по снегу, ходил по квартирам, хотел продать за выпивку, но никто не покупал. Наконец приехал в Москву из деревни его знакомый мужик и купил: «Ничего! — сказал он. — Этот мундир свои деньги оправдает! В нем пахать, например, самое разлужное дело: его ни один дождь не пробыет. Опять же тепел, весь в застежках. Ему сносу не будет!».

— Стали появляться в Москве и другие наши земляки. На днях явился наш бывший садовник: приехал, говорит, «повидаться со своим баринком», то есть со мной. Я его даже не узнал сразу: за то время, что мы не виделись, рыжий сорокалетний мужик, умный, бодрый, опрятный, превратился в дряхлого старика с бледной от седины бородой, с желтым и опухшим от голода лицом. Все плакал, жаловался на свою тяжкую жизнь, просил устроить его где-нибудь на место, совершенно не понимая, кто я такой теперь. Я собрал ему по знакомым кое-какого тряпья, дал на обратную дорогу несколько рублей. Он, дрожа, пихал это тряпье в свой нищенский мешок, со слезами бормотал: «Теперь я и доеду, и хлебушка куплю!». Под вечер ушел с этим мешком на вокзал, на прощанье поймал и несколько раз поцеловал мне руку холодными, мокрыми губами и усами.

— Я был на одном собрании молодых московских писателей. В комнате холодно, освещение, как на глухом полустанке, все курят и лихо харкают на пол. О вас, писателях-эмигрантах, отзывались так: «Гнилые европейцы! Живые мертвецы!».

— Писатель Малашкин, шестипалый, мещанин из Ефремовского уезда. Говорит: «Я новый роман кончил. Двад-

Кто же ее теперь замуж возьмет? Ведь какая барышня прежде была, а теперь драна, одни зубы. Стара, как смерть».

В деревне за городом Ефремов Тульской губернии, в мужицкой полуразрушенной избе, доживал в это время свои последние дни мой старший брат Евгений Алексеевич Бунин. Когда-то у него было небольшое имение, которое он после мужицких бунтов в 1905 г. вынужден был продать и купить в Ефремове небольшую усадьбу, дом и сад. И вот стали доходить ко мне в Париж сведения и о нем:

— Ты, вероятно, не знаешь, что Евгения Алексеевича выгнали из его дома в Ефремове, теперь он живет в деревне под городом, в мужицкой избе с провалившейся крышей. Зимой изба тонет в сугробах, в щели гнилых стен несет в метель снегом... Живет тем, что пишет портреты. Недавно написал за пуд гнилой муки портрет Васьки Жохова, бывшего звонаря и босяка. Васька заставил изобразить себя в цилиндре и во фраке — фрак и цилиндр достались ему при грабеже имения ваших родственников Трухачевских, — и в плисовых шароварах. По плечам, по фраку военные ремни с кольцами.

21